

РУССКИЙ СТИЛЬ

Как и всякий другой, русский стиль имеет историю вопроса. Сама русская история создавала основу его, христианство его одухотворило. Историков древности, вначале с любопытством, потом со страхом бросающих взор на славянские земли, изумляло отношение славян к смерти. Пушкин не случайно взял одним из эпиграфов слова Средневековья о нас: «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не больно умирать».

Это отношение к смерти, которое есть вообще главное в жизни человека и нации, и выделяет русский стиль из других. Наша, русская, жизнь не здесь, она в Руси Небесной. Но это не значит, что русский стиль предполагает пренебрежение к жизни земной, нет. Земная жизнь есть пропуск в жизнь небесную. Чем выше качества души, тем выше она вознесется. Такие рассуждения, подкрепленные примерами, становятся убеждением русского художника и питают в его нелегкой дороге.

Он вообще вряд ли связан с каким-либо именем. Русский стиль — дело соборное. Другое дело — иностранные. Ходжа Насреддин, Шехерезада, Хайям — вот Восток. Акутагава, Куросава — Япония, Конфуций, Лао Шэ — Китай, Фолкнер — одна Америка, Хемингуэй — другая, а третьей и не доищешься, Сервантес, Лопе де Вега, Лорка — Испания, Фейхтвангер — иудейство, Шолом-Алейхем — еврейство, Диккенс — католичество, Агата Кристи — Англия для всех и так далее. Где совпадает нация и ее основная религия, где — нет, но стиль присутствует всюду. Деление религий, растаскивание их на секты, течения фундаменталистов, новаторов, традиционалистов и лжепророков вредят стилю,

понижают его авторитет. Стиль готовит мировоззрение политиков, но политики у нас без мировоззрения, только с жадной властью, отсюда все беды.

Образ жизни опять же глубоко национален, отсюда борьба русского стиля за его закрепление и продление. Индейка с яблоками на Рождество — вот и Англия, спагетти, да пицца, да капучино — Италия, но Россия — не пельмени с медвежатинной, ее блюда многочисленны, русское обилие в еде предпочитало всегда гостей. Помещик Петр Петрович Петух у Гоголя искренне сетует, что гости, перед тем как заехать к нему, по дороге перекусили. Помню по себе послевоенную нищету и голод, помню нищих, которые стеснялись войти в избу, если в ней обедали. Но обедавшие помнили о нищих. А обилие свадеб, крестин, поминок — все желанны за столом. Мы держимся за быт оттого, что в нем любовь к ближним и дальним.

Убивание, высмеивание космополитами вышивки гладью и крестиком, репродукции «Трех богатырей» в колхозной столовой — все это было убиванием русского быта и стиля. Вышивка — символ. Нет у девушки в руках иголки с ниткой — давай сигарету в пальцы. Соцреализм вроде бы и не отрицал национального, но оно было во многом картонной декорацией, ряженостью, привязкой к месту действия, а действие было одинаково везде: строительство неведомого светлого будущего. Стиль же предполагает следование за идеей, за периодами жизни, их ритмом и гармонией. Стиль в семидесятилетних испытаниях сохранялся в мечте о нем. Вырастая в сороковые, пятидесятые и так далее годы, мы ведь не только «Битву в пути», да Полевого,

да Паустовского читали. Одна русская сказка, одна застольная русская песня перевешивала всю тяжесть соцреализма. Нерусская культура для России как кукуруза, сеявшаяся по приказу за Полярным кругом, — все равно вымерзнет, сама вымерзнет, даже времени на возмущение ею не надо тратить.

А еще повезло в тяге по русскому стилю, что в шестидесятые хлынуло на нас засилье иностранной литературы, неплохой, кстати. Но как ни хорош Фитцджеральд, а до Гончарова, например, ему как до звезд. То есть все мы перемолотили. Гамсуна оценили, Ремарком побаловались, а мало их для русского, который уже прочел «Как ныне собирается вещей Олег» или «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром», «По небу полуночи Ангел летел»... Для русского, даже неверующего, но просто любящего Россию, нет сомнений, что Господь был в России. И как иначе после Тютчева: «Утомленный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

Ведь если русский стиль был, а он был, существовал, то он и есть, он действует, он живет хотя бы в тоске по нему. Отсюда желание возврата к нему, отсюда обязанность русского художника его продолжать.

Проживать историю или жить в цивилизации? Но я никуда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я живу историей. Я вхожу в общество потребителей, я просто обязан жить сегодняшней русской жизнью. Но надо видеть в бегущем времени проблески, пусть даже и гаснущие, вечности. Прогресс демократии вижу в одном — в прогрессе разврата, насилия, пошлости, в их агрессивности, в их лихорадочном румянце, в желании заразить всех.

Господа иностранцы никогда не поймут России, и не надо им ничего объяснять. Кое-что понимают те, кто понимает чувством, а всякие изыскания о России, об иконе и топоре — болтовня для сытых, справка для ЦРУ. Другое дело люди, полностью, по силе своей любви к России начинающие ей служить: Востоков и Даль, Бодуэн де Куртэнэ... Здесь пунктик, когда ненавидящие Россию всегда вопят о частичках нерусской крови в Пушкине, Лермонтове и так далее. Дело разве в крови, дело же в любви к России, а значит, к православию. Но вообще для иностранцев мы непостижимы. Прости, Господи, я не видел никого глупее и самоувереннее американцев. Вспомним к случаю и князя Вол-

конского. В лекциях, читанных в Америке по русской истории и культуре, он замечает, что, заставь иностранца говорить о России, и он непременно сморозит глупость. В массовой культуре нет русского стиля, есть его знаки: «посидим, поокаем», рубаха навыпуск, присядка, калинка-малинка, казачок, но стиль — не этнография в костюме и рисунке танца, это образ мыслей.

Но снисходительно взглянет на наши доводы в защиту русской культуры демократ-неоамериканец: «Как ни кричите вы, русские, о своем самобытном пути развития, а вышло-то все по-нашему. Всякие ваши веча, да земства, да совестные суды — побоку! Приучили же вас к парламентам и спикерам, и никуда вы не делись. И префекты и плюсквамперфекты, и мэры и мэрии, и федеральность всякая уже хозяйничает в России. Ну, кинем вам кость, дадим Думу, так это все тоже наше, западное, иначе только названное. И выборы сделаем какие хотим, так что можете не голосовать, командовать будем мы. И в экономике будете хлебать нашу кашу, будете всю западную заваль потреблять за большие деньги. И в образовании будем вас окорачивать, своих выучим, вашим — шиш. Деньги в красный угол поместим, молитесь. Все будем мерить на деньги. Культура только наша, то есть низкопробная, массовая, все сюжеты кино и театра о деньгах, насилии, роскоши, погоне за удовольствиями. Вся трагедия индейцев Северной Америки стала основой боевиков, вся история Европы — сюжетом для развлекательных фильмов, так же поступим и с русской историей. Ивана Грозного сделаем чудовищем, Петра — героем-реформатором, Екатерину — самкой, Павла — недоумком, Ломоносова — драчуном и пьяницей, Пушкина — волокитой, остальных соответственно. Посмотрят дети и взрослые десятка два лет, так и будут представлять русскую историю — в наших картинках.

Это нам решать, что русским пить и есть, что любить, кого выбирать, что носить, за кого воевать, русские сами не способны ни к чему. Правда, мы ни разу со времен царя Гороха не дали русским быть в своей стране хозяевами, но нам лучше знать, кому верховодить в России...»

Так примерно говорят русским демократы нового толка. Западный путь развития во всем, куда ни глянь. «Мы победили, — кричат они, — значит, мы сильнее, значит, наша идея жизнеспособней».

Но так ли?

ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНА

В тот давний морозный декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, я был здо-

ров, счастлив и молод. Первые мои рассказы, напечатанные в столичных журналах, дошли до родины,

один даже с фотографией, что восхищало. Вот, не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую мой рассказ. «Это — судьба», — забилося сердце. Я с ходу пошел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, пропись». С тех пор не ищу контактов с читателями. С московскими. А Вятка? Вятка — это Вятка. Конечно, нет пророка в своем Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым вкладом в «малую» родину. Малой родиной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня — всесветная. Таковой же она, уверен, была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

— Нет, Толя, — сказал я, когда мы остались одни, — это счастье, что мы живем не в Вятке. Счастье. Приехали и уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

— А этот, — Толя назвал другую фамилию, — уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: я — вятский Гоголь.

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица, прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщина из-под осины, а район такой, Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. Пока же закончу рассуждение о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьез и подолгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идет до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних, и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве много писателей, и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаешь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду — что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти там, в секретариате, чего-нибудь понимают), то-

го-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка только приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукачка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут подолгу враждовать. Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то же уживались, сидели на одних совещаниях, пьянствовали вместе, делить, конечно, было что (издания, звания, поездки...) но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в приемной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз. Если мы, русские члены приемной комиссии, не принимали в Союз еврея, причем совершенно по объективным причинам (бездарен, тягомотен, мало написал, подождем), то члены комиссии евреи тут же автоматически топили русского, будь он хоть расталантлив. Но как-то все же договаривались, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял, например, тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика: «Ты, я и Бунин». — «Тут у меня еще Женя сидит», — говорил я. «Да, и еще Женя». Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно не пробивной человек. Он написал повесть, где главный герой — унылый маленький человек советского времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швейцар, имя его Филимон, любил барина. У берега тихой речки, конечно, с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный, говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет да поставь-ка ты себе на голову яблоко». — «А не портили бы вы яблоко, барин», — отвечал Филимон, нисколько не сомневаясь, что барин попадет не в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

— А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, пронеслись автобусы. Скрипели валенки торопливых закутанных прохожих. Непонятное время как бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более после бани боялись простыть.

— Да, Филимон, — отвечал я. — Не будем портить радость от встречи разговорами о роли интеллигенции в ее личной жизни.

Но в тот же вечер мы снова нарвались на такие разговоры. Нас заарканила областная гросс-дама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), ее давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У нее, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, еще кто-то пели и пили и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для нее, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времен предателя Курбского, а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, кажется, что все заграничное лучше всего. Мне слышать то, что слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже и невмоготу. Господи Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и снова должен слушать бесконечно: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!), сколько можно?

— Я ухожу, — сказал я Толе. — А ты, барин, как изволишь.

Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас кто — кто барин, а кто слуга.

— И на кого ж ты меня покинешь? — отвечал Толя.

Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали. Так сказать, безвизно. Мороз еще подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Стали ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и выскакивая голосовать проезжающим, я перешел на другую сторону.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

— Да, — сказал я, — очарование родиной продолжается.

Мы недолго бы переживали, если б портфель пропал без содержимого, но он пропал именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было б залить горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, с высоты лет легко нас осудить: шли бы спать, и все, но поставьте себя на наше место. Приехали на родину, давно не виделись.

Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу все понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы, что в России есть гене-

рал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату.

Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеєм.

— Погоду слушал, — сказал он. — У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта случайная фраза брата о погоде решила нашу судьбу. Сидели на кухне и все прокручивали вчерашнее сидение с вятским бомондом. Разговоры его ничуть не отличались от разговоров и в Москве, и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема — говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема — обсасывать уже прошедшие события истории, которые уже не изменишь. Но зато сколько возможностей показать ум. Третья тема — осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездари. И так далее.

— У нас в Перми, — сказал Толя, — есть два поэта.

— Два? А ты? А?..

— Два враждующих. Зовут Штепсель и Тарапунька. Один — два метра, другой — метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта — и мировоззрение. Что ты! Обида, вражда. Если один пришел в Союз писателей, другой не придет.

— И у каждого читателя, так ведь?

— Естественно. А поехали-ка, Филимон, на вокзал, — сказал Толя. — Выпьем там. Не для пьянства, а чтоб не отвыкнуть для.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще, в дореформенной России с такси не было проблем, в Кирове особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь — через три минуты выезжает из-за угла. Еще через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а к концу поездки — преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот умоляю: подвези! Шофер берет меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофер глаза свои сужает, соображает, сколько взять...» Вятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счетчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так

и мы. Все познается в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью — получай. Недовольство жизнью всегда ведет к ее ухудшению.

Толсто замерзшие стекла вокзального ресторана не пропускали ни света, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электровозов.

— С этими разговорами, — сказал я, — будто из Москвы не уезжал.

— А я из Перми. У нас же тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушают. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приемники делают помощней. За высокую техническую грамотность! — поднял Толя бокал.

— И за низкую национальную сознательность! — поднял я свой навстречу. — То есть за то, чтоб она возросла.

— Как всегда будет поздно, — хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: — А поедем, Филимон, в Пермь. Сказал же брат — там теплее.

— Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

— Жребий? — Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. — Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдет на восток. Давай поедем туда, куда пойдет скорее.

— Давай.

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

— Зима, мороз, и все куда-то едут. Ну мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? — спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришел и отошел вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плакали дети, орали динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки — и все равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть буфет, но что и это не то.

— Почему?

— Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только аква минерале. — Толя сделал паузу. — А теперь выслушай информацию со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к что ж. Идем? Водка от гонений крепнет.

Тогда, опять же кстати, качество спиртного было данным, то есть надежным. Демократического пой-

ла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «ройаль», вроде чудовищной ацетоновой бормотухи не было и в страшном сне.

Мы оставили полушубки и пошагали належке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжелые выросшие ледяным свинцом двери. Вечность мы шли до этого Игоря. Он оказался на месте, выслушал пароль от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря еще и тем, что сообщили: одну распечатываем с ним, одну берем с собой. Платим за обе.

— Вот такой пошел клиент у тебя.

Добру добро откликается — в служебном купе появились и горячая картошечка и рыба, также огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти частушку: «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хоть и не убивал, а в частушку для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемерзшие окна, за которыми что-то проносилось.

— Как в метро едем, — сказал я на середине пути.

— Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а также трудность добывания горючего, а также то, что все равно снова идти, то...

— Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были в своем народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница отказалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

— Надо бы ей стих сочинить, — предложил я. — Еда на уровне министров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

— Нам так понравилось сидеть, что захотелось к вам опеть.

Мы все прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мерз. Пытался дышать глазок в стекле. Вроде протаивало, но как только отклонялся, чтоб набрать воздуха, глазок затуманивался, как засыпающий.

— Удмуртию, наверное, проезжаем.

— Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, — поправил Толя. — Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Нас вообще кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? Заболоцкий отошел к марийцам, Шаляпин к татарам, Шишкин к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, барин, к Игорю?

Игорь уже был не проводник, а полупроводник, как мы его потом назвали. Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только все обещал начистить морду электрику состава.

— Он же всю дорогу дрыхнет. Вот и отоварил Райку. Нет, начищу! Будет блестеть, будет!

— С мордой не связывайся, — посоветовал Толя. — Пристрели и выкинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили проводницу, обещали написать ей стих. В этот раз все-таки решили пойти до своего вагона, а то как бы наши полшубки не скоммуниздили. В вагоне полшубки были на месте.

— Филимон, давай пока не будем открывать, давай сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить. Верещагино.

— Уже Верещагино! — ахнул Толя. — Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лежа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

В жаре, на полке боковой,
Над колесом, у туалета,
Я ехал к крестнику домой,
Он был поэтом.

Крик жен, храпенье их мужей,
Хрипенье радиоэфира,
Казалось мне, что нет уже
Другого мира.

И обескровленный листок
В окне метался.
Изнемогая, на восток
Я продвигался...

Окончание я забыл, да это и неважно. Толя, как профессионал, сочинил гораздо лучше: «Надоело болтать и стограммить под хмельную чечетку колес. Я сумею состав застопкранить, я успею уйти под откос. Вы меня ни за что не найдете, мне на вас глаубоко наплевать. Ах, какие на поле ометы, я в ометы уйду ночевать... — Дальше, помню, было: — С головою зарююсь в лучи и усну в золотистой соломе, как у мамы на русской печи. — В конце стояло: — Не забыт он, не предан, не запит родниковой отчизны исток. Мне на Вятку, на запад, на запад, а колеса стучат на восток».

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

— То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут как обескровленные листки метаться.

— А на кого это тебе глубоко наплевать?

— Они поймут.

В Перми врод ли было теплее. Доказательством мороза было то, что прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по склеенному, брат сделал на совесть, а рядом.

— У тебя дома клей есть?

— У меня как в Греции, все есть, — отвечал Толя. — Но ты что, думаешь сдаваться? У меня и жена есть, даже и вятская, то есть даже больше, чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь еще и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи антисемиты. Поехали в Союз, там точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина, длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причем важное отличие: кремлевская пушка так и не выстрелила, а пермская и стреляла, и еще вполне может стрелять. Сведение, ценное для нынешних времен.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб МВД, конечно, имени Дзержинского. В нем мы быстро достали все необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол «купить». Купить любой может, а ты достань. Достать — дело творческое. Загремела казенная посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве. Высокий поэт, назовем Александром, завладел вниманием.

— Этот шплинт, — сказал он, — этот шибздик имеет мировоззрение.

— Хватит тебе! — закричали присутствующие.

— О! — вдруг встрепенулся Толя, сидящий рядом. — Ведь Славка рядом живет. — Толя вышел.

Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти в Союз.

Тут началось и блистательно произошло событие, положившее конец поэтической вражде. Событие задумал и провел Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

— За Пушкина! — возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин — стоя), как в дверях появился

Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, но Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

— Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

— Ну, Пушкин.

— А ты, Слав? — тут же обратился Толя к маленькому ростом. — Ты лучше Пушкина пишешь, а?

— Что глупость говорить? — ответил Слава. — Пушкин же.

— Итак! — поднял руку Толя. — Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, бру-дершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу. И — свершилось: Толя с помощью Пушкина и с нашей помощью покончил с враждой, вырвал ее корни. Славу и Александра посадили вместе. Александр отечески подливал соседу и гудел:

— Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши проще. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто в трехкомнатной квартире. Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достает из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие емкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь: это была чисто русская советская загадка тех времен: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах все ломилось, а придешь к ним домой — пусто, экономно, ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

— Вот этот, — он назвал модную фамилию, — ведь еврей?

— Ну?

— Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот этот (фамилия) русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

— Ни слова о евреях! — закричали мы.

— При Сталине... — начал Николай.

— Ни слова о Сталине, — закричали мы.

— Значит, молчать?

— Есть же третья тема — о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «Коля жил как отшельник игумен, лишь с печатной машинкой дружил, и в горячке писательских буден без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому случиться — был покой монастырский сметен, вдруг явился к нему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона мы, конечно, Николаю рассказали.

— С женщинами я вам не помощник, — ответил Николай. — Но пригласить могу.

— Приглашай, — распорядился Толя. — Желательно постарше. Для общения, для интеллекта. Вдохновения хватает.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

— В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, когда ездил доставать что-то для своих «Жигулей». «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первой та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: «Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни груди». Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится, и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, еще не уехавший, но отправивший в «край далекий» и жену, и сестру. Ведь в краю далеком есть у него и жена, и сестра. Заставили Толю читать стихи. Все было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдалбливал, чтоб я непременно к утру достал кресловину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку рюмки, в другую графин (Николай же не мог опуститься до того, чтоб наливать гостям из бутылок),

лягнула меня в плечо бедром и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!» Так он меня и затолкал в камеру пыток.

— Миленький, — хлопнула в ладоши женщина, — контрольный звонок, и...

Этот контрольный звонок меня спас. Оказывает-ся, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда — все отопление полопалось, трубы перемерзли, и он возвращается. Хорошо еще, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась. Я фальшиво и радостно кричал:

— Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как и в Вятке, подрулило ментально. Женщина исчезла. Вскоре отправили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось еще дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских — отечественных, теплых, надежных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра и в барина, и в Филимона, причем я до сих пор не понял, кто из нас кто. Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на нее уже не оставалось сил. И я улетел самолетом. Все было настолько доступно и настолько мы все это не ценили, что... что теперь!

В Москве измученный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолета при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в

ЦДЛ. И там, конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла все же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нем не было лобовой морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда все в России — и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино, — все захвачено, я не скажу — нерусскими, но скажу — антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогли этому. Одно утешает — все это захвачено, а захватчики трясутся от страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвизывали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа — тиражировать то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа хорошие?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю несколько крестовин, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времен, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить Родину.

ЧЕТЫРЕ НЕМЕЦКИХ ПИШУЩИХ МАШИНКИ

Валентину Распутину

О, как писалось в молодости! Быстро, весело, помногу. Ну не печаталось, не издавалось, что из того! Сказал же Гоголь: «Печать вздор! Все будет в печати!»

О, незабвенная моя первая пишущая машинка! Изношенные буквы, кривые строчки, изорванные, избитые тринадцатимиллиметровые ленты. В конторе лесхоза она была, и я ходил на нее смотреть. Даже не смотреть, а хоть взглянуть издали. Отец говорил, что ждут новую, а эту спишут и он возьмет ее себе, то есть для меня. И этот день пришел!

Отец научил меня поднимать и опускать валик, вставлять листок, устанавливать интервал между

строк. Я очень волновался и от этого резко и сильно ударял по клавишам. И вот — я написал свою фамилию. Печатными буквами! О, не смейтесь над отроком — это было событием для человека, дерзающего осчастливить своим присутствием мир. Не помню, что потом печатал, конечно, стихи, но вот машинописные буквы фамилии на светло-желтой бумаге помню. Нет, и стихи вспомнил:

Мир, сплотив миллионы сердец,
К коммунизму идет,
А его ведет
Товарищ Сталин — наш второй отец.



Все-таки не первый. А машинка «Москва» была первой. Она досталась мне уже почти полной развалиной, и я скоро превратил развалины в руины. Но дело обучения машинописи пошло-поехало. Учил я себя писать на машинке варварским способом, вначале одним пальцем тыкал, потом двумя. Если палец промахивался и нажимал не ту клавишу, я этот палец в наказание за промаху кусал. Зубы были крепкие, грамотность повышалась быстро.

Достать новую ленту было невозможно. И опять же отец приносил ленты, уже избитые, обесцвеченные. Бывало, что яснее первого, лицевого, экземпляра были вторые и третьи, которые шли под копирку. Тут я запнулся: уже надо объяснять, что такое копирка. Получается, пишу не для молодежи, а для старшего поколения. Нынешний школьник в сочинении по повести Гоголя «Шинель» сообщает: «Акакий Акакиевич работал ксероксом». А что? Он же переписчик, размножал бумаги. И мне Акакий ближе и понятнее, чем все эти ксероксы, факсы, принтеры, файлы, мегабайты, сайты, картриджи, сканеры, всякие виндоусы, яндексы, мэйлы, флешки, всякие айпеты или айпеды, сиречь планшетники, — все это кажется мне каким-то новым матерным языком демократической словесности. Только в электронном адресе завитушка в середине называется по-русски, да и та собака.

Итак, о пишущих машинках. Конечно, вначале всегда писал от руки. Но рукопись в редакцию не понесешь, время не пушкинское, нужна рукопись машинописная. Да и почерк свой сам иногда не понимал. Еще и фигурал выражением Стендаля, что ужасный почерк — признак гениальности. Переписывал попонятнее, отдавал машинистке. Дорого. Хотя застал времена, когда машинописная страница — тридцать строк — стоила десять копеек. Но при моей тогдашней нищете и это — деньги. Надо было заводить свою машинку. А как купить? Нужно было разрешение. Да. А где взять? Еще же не был членом Союза писателей. Где-то, как-то, после кого-то обзаводился старьем, мучился, брал напрокат... Помню эти «Ундервуды», «Оптимы», «Прогрессы», но все было старым, ненадежным, ломалось. Потаскай-ка в ремонт, да поплати-ка за него. Мечталось о новизне.

И вот — свершилось! Я — член СП СССР, у меня в руках талон на немецкую пишущую чудо-машинку «Эрика». По тем временам легкая, в серо-голубом футляре, будто внутри гармошка или маленький аккордеон. Меня даже спросили в автобусе: «На свадьбу играть едешь?» За этой машинкой я вначале ухаживал прямо как за первой любовью. Берег, протирал, смазывал. И она отвечала взаимностью, была безотказной. Выносила и дальние поездки, и разницу температур, и

молотила по четыре, по пять экземпляров. Притащил ее раз к родителям в свою Вятку, работал на ней в чулане, но вскоре нагрянули Кировские писатели, вытащили в поездку по области, и мы ездили дня три. Выступали, радовались жизни. Хотя и дожди шли, а все равно хорошо — родина! Вернулся к родителям, пошел в чулан проведать свою «Эрику» — батюшки мои, стоит в луже воды, весь поддон залило. Но ведь вот что такое немцы — вылил из машинки воду, протер полотенцем, вставил сухой, чистый лист и стал работать.

А дальше, хоть и стыдно, а надо рассказать, как я изменил «Эрике». Лет пятнадцать она безропотно тянула лямку. Уже была и контужена: я с ней выпрыгивал из электрички, она кувыркалась по асфальту платформы. Раз зажало ее в грузовом лифте, но все она жила, все пахала и пахала.

И вот событие — в Литературный фонд завезли австрийские, то есть опять же немецкие, пишмашинки «Юнис люкс». Аккуратные, плоскоськие. Футляр красно-белый или сине-белый. Но распределяли вначале не всем, а лишь делегатам писательского съезда. Каковым я уже и был, и эту «Юнис люкс» схватил сразу в обнимку. Выбрал, конечно, цвета моря и белых над ним облаков. Как элегантно, как легка! Какой шрифт, как мягко скользила каретка, как неслышно проворачивалась вместе с бумагой. Я ее полюбил, а уж как она меня-то любила! Именно она соблазняла меня сразу набирать, а не мучиться с рукописью. Но я все-таки не поддался. Хотя официальные письма, иногда статьи шпарил на этой «Юнис» прямо начистовую. Но что касалось рассказов и повестей, тут всегда требовалось рукописное. Хотя уже не перьевой ручкой писал, а для скорости, шариковой. Но прямая связь: голова-сердце-душа — рука-ручка-бумага сохранялась и при шариковой.

О бедной «Эрике» вспоминал редко и всегда с оттенком вины перед ней. Какая выносливая была, как мы с ней в ванной или на кухне коммуналки прокручивали сотни страниц, да еще и по несколько экземпляров, легко ли! Однажды сел и за «Эрику». Прочистил, спугнув маленького паучка, зарядил листок. Печатаю — нет мягкого знака. Немка моя за годы разлуки огрузинилась. «Гогол, — сообщала она, — большой русский писатель, любил сол и фасол». Опять задвинул ее под стол.

Жизнь моя переползла за полвека, уже было полдомика в деревне, в Подмосковье. Везти туда-сюда машинку, эту бело-синюю полинявшую красавицу, не хотелось. Везешь ее, думаешь сесть за работу, а чаще всего даже футляра не снимаешь. Чего и снимать, уже пора ехать обратно.

Опять вспомнил про «Эрику». Давай ее отремонтирую и вывезу на постоянное место жительства, на почетную старость в деревню. Может, еще вместе и

потрудимся. Но уже такие машинки не брали в ремонт, на всех полках нагло разлеглась электронная продукция. Уже почти все мои соратники по перу обзавелись и компьютерами, и принтерами, писали удивительно помногу, уже ворвался Интернет, возможность передавать написанное в редакцию, не отрывая сидячего места от стула. Я так не мог. И не от упрямства, просто мне надо было поехать в редакцию самому, отвезти рукопись, попить чаю с редакторами, поговорить с ними не по телефону. Компьютерные тексты ужасали меня тем, что были уже будто бы законченными, книжными, как их править? Тогда как с машинописью я не церемонился, черкал вдоль и поперек. Напишу от руки, поправлю, перепишу на машинке, полежит, поправлю, опять перепишу. А тут вроде как все уже и законченное.

На очередной день рождения родные и близкие, беря в рассуждение наступление века электроники и, видимо, надеясь, что с новой техникой и я буду писать по-новому, подарили мне, нет, пока не компьютер, а пишущую машинку, но электронную. Дорогую, опять же немецкую, с памятью. Мне говорили, что это такая же машинка, как и «Эрика», как и «Юнис люкс», но только облегченная, упрощенная, отлаженная. Мне показали, как на ней работать. Но я за это электронное немецкое сел не сразу. Хотя имя ей дал: «Электронка».

Однажды, оставшись дома один, включил ее. «Электронка» загудела, замигала, каретка подергалась, поерзала влево-вправо, вверх-вниз и, как образцово-показательная, остановилась в начале строки. Я нажал клавишу с буквой «а», и буква появилась на бумаге с такой ошеломляющей моментальностью, что я понял — никаким моим мыслям не угнаться за такой скоростью. Особенно поражало то, что можно ни о чем не заботиться, ни об интервале, ни о красной строке, ни о конце строки. «Электронка» молотила исправно. Вдобавок все помнила и даже исправляла ошибки — внутри, где-то там, был у нее словарь. Кроме основной двухцветной ленты, в ней была еще лента коррекционная, полупрозрачная. Она выскакивала откуда-то снизу и подставляла себя под удар в том случае, когда ловила меня на ошибке, и сама забивала неверную букву, тут же скрывалась, тут же возвращалась лента основная, тут же щелкала буква правильная.

Нет, не смог я полюбить эту «Электронку». Но и она была взаимна в нелюбви ко мне. Шипела, шипела негромко, но, конечно по-змеиному. Даже отодвигалась, огоньки мигали презрительно. Работу она выполняла четко, но холодно, как поденщину. Когда я выключал ее, в ней еще долго что-то передергивалось, потрескивало, будто она обсуждала и критиковала все, что я ее заставил написать.

Но вот что случилось с «Юнис», с моей верной малышкой «Юнис». Она с горя заумирала. Еще бы — хоззяин завел какую-то новую лакированную стерву. Умирание «Юнис» я понял, когда, устав от того, что «Электронка» совершенно вампирски вытягивает из меня поток сознания, что я обессиливаю от сидения перед ней и что начинаю писать как-то рассудочно и умственно, то есть неинтересно, тогда я решил вернуться к «Юнис». Но та не захотела работать. Совсем умерла или забастовала, не понял. Я сказал ей: «Служила ты долго и честно, я тебя не брошу. Тебя и “Эрику” отвезу в деревню, буду на вас любоваться и вспоминать золотое время».

Но, товарищи, вы понимаете, что это значит — сказать любимому существу о расставании. «Юнис» моя молча собралась в путь, но по дороге пыталась скрыться. На автовокзале пошел купить хлеба, «Юнис» спряталась за кассой. В автобусе забилась под сиденье и затаилась, я чуть ее не забыл. Принес в свои полдома, открыл футляр, протер тряпочкой. Заменял ленту, зарядил бумагу. Нет, не прощала «Юнис» измены, безмолвствовала. Ладно, заслужил. Зачехлил ее, поместил на книжную полку.

И вот что произошло назавтра. Назавтра мне позвонила знакомая из серьезного учреждения и сообщила, что у них меняют всю пишущую технику и что я могу приехать и забрать легендарную машинку еще конца девятнадцатого века. Называется «Континенталь». Немецкая. Что она вполне исправная, на ходу. Надо ли говорить, что я помчался за ней тут же. Как ее припер в общественном транспорте, сам удивляюсь. Она же большая, корпус стальной, килограммов двадцать. Ее можно было с пятого этажа бросать, и ничего бы с ней не случилось. Позвал товарища, который понимал в технике. И он, и я были в восторге от «Континенталья». А домашние в ужасе, назвали его динозавром. Я ему присвоил имя «Бисмарк», ибо в годы создания «Континенталья» как раз Бисмарк правил Германией. Мой «Бисмарк» был произведен на диво. Высокий, основательный, сверкающий кнопками шрифта, серебряным звончком, сигналившим о близком завершении строки, никелированными ручечками, планками, рукоятками, переключателями. Мы во всем этом к концу дня разобрались. Смазали наилучшим часовым маслом, опробовали. Мягкий ход, деликатная смена режимов. Шрифт старомодный, но такой приятный для глаз. Я специально поставил «Бисмарка» рядом с электронной дамочкой и спросил:

— Ну что, краля, а ты будешь исправно работать через сто три года, а? Да нет, тебя из мира выпрут все новые и новые модификации офисной техники, так ведь?

«Электронка» презрительно молчала, а «Бисмарк» спокойно возвышался и, как честный работяга, ждал команды к труду.

Но вначале я освободил его от соседства. Вынес «Электронку» во двор, но не выбросил в мусор, все-таки надо уважать техническую мысль, поставил на парапет, аккуратно сложил на крышке провода, простилса. К обеду ее кто-то приватизировал.

О, «Бисмарк» был великий трудяга. Я взгромоздил его на самое для него подходящее место, на дубовый подоконник, и начал строчить: «Немецкая точность и русская духовность в союзе меж собой могли бы дать миру образец симфонии государства и личности, труда и молитвы, союза небес и земли...» — высокопарный текст очень нравился «Бисмарку». Я продолжал: «Две крупнейшие монархии Европы были последними, способными спасти мир от всех искажений пути к спасению. Они были преднамеренно и целенаправленно поссорены и войной друг с другом проложили путь к гибели, называемой демократией. Но несмотря и на первую и на вторую мировые войны, русские и немцы...» Тут я вновь тормознул: как это несмотря на? А на что смотря?

В общем и целом я был доволен «Бисмарком». Вывезти в деревню все-таки пришлось, так как своей громадностью он утешал домашних. Причем все время требовал работы. Как бы даже молча упрекал за безделье. В деревне я как-то автоматически взял с полки «Юнис», снял футляр. Вставил, как делал это сотни раз, писчую бумагу, прокрутил валик, сдвинул каретку вправо, ударил по клавишам. И — «Юнис» откликнулась, заиграла. Поехала влево каретка, затрепыхался поглощаемый листок, покрывающийся, как ныне говорят, текстовой массой.

Может, это кому-то и смешно, что я наделяю машинки человеческими качествами, но я объяснил возвращение «Юнис» в строй тем, что с «Бисмарком» у нее наладились прекрасные отношения. Он молотил официальные письма, предисловия, статьи, а «Юнис» очень обожала писать «про любовь». «Ах, как остро не хватает в мире любви! Ах, как хочется внезапно охватываться мыслями о любимом (вариант: о любимой). Ах, не надо нам ждать, чтобы нас любили, надо любить самим! О, главное в любви — благодарность тому сердцу, в котором живешь. Нельзя из него уходить: оно сожмется и начнет умирать». Это «Юнис» вроде как сама писала. Я же, сторбившись над ней, выпечатавал: «В зрелые годы не любят внезапно, а любят, как дышат». Самое смешное, что и «Эрика» встала в строй, как-то сам собой вернулся мягкий знак, а с ним и фраза: «Гоголь — великий русский писатель». То есть «Эрика» все мне простила и служила на совесть. Лишь бы смазывал иногда. Да даже и без смазки не скрипела.

впрягалась и тянула ляжку. Это не «Бисмарк»: он работает-работает и вдруг резко тормозит. Такой немецкий порядок — орднунг. Надо бежать за масленкой.

Вначале «Бисмарк» и «Юнис» стояли вместе, но работа моя как-то не шла. Было такое ощущение, что им и без работы неплохо. Думаю, они даже как-то общались. И то сказать, у них была одна родина, обе попали на чужбину, было о чем поговорить. «Бисмарк» пережил две войны, а «Юнис» была дамочка современная. При «Юнис» старик «Бисмарк» как-то спотыкался, становился косноязычен, а «Юнис» начинала быть какой-то игривой. Хулиганила даже. Ни с того ни сего писала заявку: «Ах, как хочется писать о любви! Ах, ах, вспомним библиотекарьшу воинской части, которая учила разбирать части речи и члены предложения!» Еще бы не помнить! Но что чем выражено, какие там сказуемые, какая мне была разница, где префикс, где суффикс, главное — она, а она была так красива, так умна, что было совсем непонятно, как это она вдруг замужем? Вот тут вам и краткие прилагательные, вот тут вам и первое и второе склонения.

«Юнис» хотелось писать и о том, как мы с моей юной женой склонялись над кроваткой доченьки, как везли на море сыночка, как совсем скоро его сын, наш внук, приталкивал к окну стул, залезал на него и глядел на голубей. А потом затаскивал к себе сестричку, нашу внучку, чтобы и она увидела птичек... Обо всем этом очень хотела написать «Юнис», и у нее бы получилось, но вторжение электроники в писательскую жизнь помешало. Вот если бы остановилась моя писательская кухня на уровне механических машинок, тогда да.

Из боязни, что «Бисмарк» и «Юнис», объединившись, родят мне какого-нибудь электронного немчика, я их поставил в разные комнаты.

Не мы в этом мире диктуем условия жизни, их перед нами ставят. Пришлось и мне вживаться в требования современности и, «задрвав штаны», бежать за полиграфией. Издатели безжалостны. Не стали брать машинописные тексты. Говорили: «Мы вас любим, но поймите и нас. Машинопись сканируется плохо, да и вам же лучше, загоняйте текст на диск или на флешку, приносите, мы оформим и в типографию, а лучше всего сбросьте по электронному адресу». Да уж, словечки: загоняйте, сбросьте, оформим.

Конечно, и издателей можно понять, уже один редактор вел враз в месяц пять-шесть книг, не как раньше, одну в два месяца. Да еще был штат рецензентов, контрольная вычитка, корректура. Скажут, вот она, бюрократическая система. Да эта система издавала прекрасные книги, и они, в доходах государственного бюджета, были на втором месте после продажи алкогольной про-

дукции. Много и мусора, особенно идеологического, издавалось, но это было ничто по сравнению с теперешними помойками демократической пропаганды пошлости, насилия, разврата, оккультности. Да и тексты книг были куда грамотней. Даже уже напечатанную книгу вновь прочитывали и замеченные опечатки излагали типографским способом на отдельном листочке и прилагали его к каждому экземпляру книги. Да, сидели и вкладывали. А тиражи какие были! Сказка! Едешь на Запад или на Восток, спрашивают: «Какие у вас тиражи книг?» — «Вот эта повесть вышла тиражом двести тысяч, эта — три с половиной миллиона экземпляров». Уважали.

Компьютеры создали видимость легкости писательского труда, книг стало выходить раз в десять больше. Пошли в писатели актеры, уголовники, политики, шпионы, дипломаты... Ведь это же кажется, так легко — сел за клавиатуру и... шлеп-шлеп хоть десятую пальцами.

А я, что называется, в новые технологии не вписался. Это же ужас — не успеваешь еле-еле коснуться клавиши, как на экране моментально прорезается буква, потом другая, вот и слово, вот и строка. Но я уже не понимаю, зачем эти слова. Неверно написал слово — оно подчеркивается. Нет, в машинке связь между головой, рукой и бумагой не разрывалась. В компьютере провал, который в обычной машинке виден: от клавиши к шрифту идет тяга, она помогает свинцовой букве ударить по ленте, та отдает часть своей краски, буква шрифта появляется на белой бумаге. Тут и другая на помощь, и третья. Любо-дорого. Бодро и радостно выстраиваются слова в рядок, к месту подсказывает запятая, вот и точка. Все путем. Вот и предложение, которое можно или забраковать, или переделать, а то и одобрить. В компьютере вроде все закончено. Чего переделывать — страница выходит как в книге.

А еще угнетало то, что написанное надо было «загонять в память». На машинке собираешь урожай страниц, раскладываешь экземпляры по номерам, тоже удовольствие. А тут термин — «сбросить». На рабочий стол, на флешку, в корзину. Все это сбрасывание происходило молча, на поверхность не выходило ни криков, ни стонов, ни даже звука раздираемой бумаги, ни пламени от ее сгорания, ничего. А эти всякие базы данных, файлы, сервисы, форматы, таблицы, виды, вставки, это постоянное зудение надписей внизу справа: «Безопасность компьютера под угрозой», «Срок действия антивирусной программы закончился», «Обновления для вас готовы». Да еще какая-то «напоминалка», да еще кто-то сильно умный сует в окно всякие изречения. Какие и с юмором. Еще, что особенно противно, — дни рождения всяких эстрадных шавок. По бокам красотки,

по виду проститутки, чего-то все хотят. Мне говорят: не замечай, но как не замечать: все это пред тобой, лезет в глаза. И вроде бы подчиняется тебе вся эта экранность, постоянно вроде бы ждет твоей команды, а на самом деле не она при тебе, а ты при ней. Эта вроде бы приданная для ускорения писательского мастерства штучка смеет указывать, что мои, родные вятские слова, то есть самые русские, — это устаревшее. Я возмущался: что ты лезешь, немецкое производство, не в свое пространство! Тебе в сбербанке стоять, тебе чеки выписывать, а не о русской жизни рассказывать.

А эта флешка, или флэшка, показать бы ее Толстому, да сказать бы: «Вот, весь ты тут и с твоей войной, и с твоим миром», — он бы с ума сошел. Эта флешка, как дамочка легкого поведения, таскалась по редакциям и приносила домой всякую заразу. Надо было чистить, ставить программы антивирусные. Тоже возня, тоже деньги.

Нет, не пускала меня в себя новая жизнь, не интегрировался я в нее. Сами посудите: вот ты спишь, а компьютер стоит на столе в изголовье и все помнит. Я засыпаю, а он запомнил все мои труды, я сплю, а он помнит. Легко ли? Стоит ночью, подмигивает красным колдунским зрачком: «Все, все-е о тебе знаю. А ты спи, спи». Что-то в этом оккультное, экстрасенсное. То ли дело рукопись, лежит-полеживает. А если что в ней зачеркнул, оно же все равно остается, его видно. А вдруг оно лучше нового, легко вернуть. А выбросил в корзину, так в настоящую. Можно поискать, пошуршать бумагами.

Ну что, сказал я себе однажды, пора сдаваться. Победила русскую ментальность общемировая тенденция к стандартизации жизни, а? Ну, еще немного потрепыхаемся, ну, еще пообслуживаем остатки своих читателей рассказами о рассветах и закатах Руси, о сенокосах и рыбалках, о черемухе над рекой и о замирании сердца, когда провожаешь девушку и стесняешься коснуться ее даже мизинцем, а дальше? И мои читатели вымрут, и я вымру. Но ведь Русь, Россия останется! Ну как иначе? Ну, неужели иначе? Ведь мир без России умрет автоматически, Россия — душа мира, тело без души — пища червям. Конечно, так оно нам и надо. Но, Господи, не все же пляшут в дискотеках, не все же курят, не все же потребляют наркоту, не все же напиваются, не все же считают любовью постыдное партнерство. Не все же ставят похоти плоти выше спасения души. Ты сейчас из церкви пришел, шел туда в сумерках, возвращался при солнце, видел же, сколько в храме деточек, сколько пап и мам, и бабушек, и дедушек, не печалься, все хорошо.

А достань-ка ты, брат, давний подарок, о котором и позабыл, наверное, да вот вспомнил, когда стал рас-

суждать о написании слов. А подарок этот состоит из гусяного пера, чернильницы, пузырька с чернилами и песочницы с песком. И называется высокоторжественно: «Набор “Пушкинский”». И приборика, брат, на столе, поставь-ка письменный сей прибор да начертай на чистом листке... Что ж начертать-то? Фамилию, что ли, свою? Я ее и так пока не забыл. Изречение какое? Таким пером надо непременно что-то разумное, доброе, вечное. Не писать же исследование «О категориях постсоветского электората». И фразы: «Ваня любит Маню, а Маня любит Петю», тоже проехали, хотя Ваню жалко. Нет, брат, не мучай перо и сам не мучайся.

Хотя на одно я отважился, на прописи. Ведь я еще застал время, когда были уроки чистописания. Вот я вывожу букву «А» заглавную и «а» прописную, строчную. Как красива левая ножка буквы, как хитрая лапка лисы, как основательна и пряма правая. Ее хвостик — как рука, подаваемая следующей букве. Поясок волнистый, с нажимом в середине. Вот буква «Б». Какая надежная, размашистая над ней крыша, как вымпел над парусником. А у прописной «В» такая кокетливая петелька, «в» буква чаще как предлог, часто живет в строке в гордом одиночестве, она указательная: пошли в темный лес, в минуты жизни трудные... Обмакиваю перо и радуюсь, что даже спустя шестьдесят пять лет не разучился писать красиво. Это не моя заслуга, это гусяное перо меня возвращает на три эпохи назад.

Сидел, сидел и осмелился что-то написать. И написалось. Конечно, не свое, пушкинское: «Минута — и стихи свободно потекут». У него именно потекут, как лесной чистый ручей, выбегающий на солнечную поляну и напоющий корни деревьев, трав и цветов. Как представить Александра Сергеевича над клавиатурой, выстукивающего на ней: «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись! Открой сомкнуты негой взоры...» А это: «Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь, приятно думать у лежанки, но, знаешь, не велешь ли в санки кобылку бурую запречь?» Ему бы эта система многое бы подчеркнула: и «сомкнуты», и «запречь», и «затопленная»... Затопленная, в лучшем случае, низменность. Выкинул бы Александр Сергеевич всю эту аппаратуру. Да и не было бы его при ней. А был он при Михайловском, при Арине Родионовне, при России... Летело его гусяное перо по шероховатой бумаге: «Летя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня, и навестим поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег, милый для меня».

Летело, летело, летело, да и улетело...

ДЕМОКРАТКА АЛИСА И НЕБЛАГОДАРНЫЙ НАРОД

Молодая женщина Алиса — дочка большого начальника, уже и сама начальница. Такой ее сделали друзья папы. Естественно, что Алиса — демократка. Другой судьбы для нее в новой России быть не могло. Еще бы — прадедушка был ярый большевик, бабушка и папа — передовые коммунисты, так что Алисе на роду было написано стать демократкой. Ее послали в отстающую по многим показателям область, дали в подчинение медицину и школы и сказали:

— Конечно, не штат Флорида, но для биографии побудь там. А когда доведешь медицину и школы до мирового уровня, тогда раздвинем перед тобой новые горизонты.

Начальником в области был тоже молодой человек, но постарше Алисы, и уже закаленный в боях за демократию. Еще со времен пьяной приватизации научился тасовать в речах мировое, примерное для нас, сообщество, разные инвестиции, новые технологии, знал, что такое ВТО, а что такое ТНК, соображал в нефтяных и газовых трубах, в ценных бумагах, умел хлопать по плечу, для популярности мог выпить с рабочим пивца, а с интеллигентами говорить о трезвости, вел здоровый образ жизни, словом, держался курса и подходил как начальник и для области, и для Алисы.

Он, конечно, в любом случае помогал бы ей, но Алиса все-таки решила стать его любовницей. Для удобства. И стала. При ее-то происхождении и красоте, при ее-то связях в столице. Но и ему такие отношения были выгодны. Жена у него караулила квартиру в Москве, да и что жена? Ну, настучат ей, он скажет: «Милая, а ты хочешь, чтоб я вместе с тобой сгнил в этой дыре?»

Алиса не отлавливала начальника в рабочее время, зачем? У него дел много, и светиться часто около него ни к чему. При наличии личных отношений он сам к тебе ночью придет. Тут и кукуй ему о своих проблемах.

— Какие же все-таки люди черствые, — жаловалась она, запуская кофейный аппарат. — Говорю: так же нельзя, вы же не скотов, людей лечите. Где современное оборудование, где вообще все? Где европейская аппаратура?

Начальник зевал:

— Ну и что? Закрыла?

— А как же, — всплескивала руками Алиса. — Дикая люди! Говорят: фельдшерский пункт всегда был. И что? «Всегда!» Хватит, говорю, нам этого позорного отставания. Прямо слаборазвитая Африка. «А где нам лечиться?» Есть районная больница, пользуйтесь. Ах, говорят: старухи не могут ехать. Говорю: поставьте им компью-

тер, пусть выходят на специалистов через Интернет. Ах, денег нет! Денег у них нет, — говорила она язвительно, садясь с чашечкой кофе на колени к начальнику и давая ему отхлебнуть капельку.

Начальник тоже возмущается:

— Да заколебали они меня все! Самоуправление хотят, берите! И тут же деньги цыганят. Печатного станка у меня нет, сами изворачивайтесь. Не можете — уходите, посажу своего. Не надо больше кофе, давай сухонького, и бай-бай! Утром оппозиция придет, надо выспаться. Придется кость бросить. Пару мест добавить. А, с другой стороны, орут, ну и орите. Это же как раз и есть демократия. Сунешь должность, они и заткнутся.

— Да-да, милый. А я снова поеду малокомплектные школы закрывать. Но им же ничего не втолкуешь. Русским языком говорю: нерентабельно! Не въезжают! Детей далеко возить, отрыв от семьи, дурого! А как они хотели! — возмущенно восклицала Алиса, готовясь ко сну. — Зачем рожали? Зачем? Если не могут дать детям достойного образования. Лялик, это же средневековье: в одном помещении четыре класса начальной школы. Дурдом! Я зашла, мне плохо. Печка топится и сушатся, представляешь, сапоги и валенки. Хорошо, у меня с собой шанель. В коридоре понюхала. Ой, думаю, скорее отсюда. А они мне: ах, посмотрите нашу выставку рисунков, ах, мы вам споем, станцуем танцы народов мира. — Алиса грациозно повела голым плечиком: — В деревне, представляешь, печи топят, корова мычит и — танцы народов мира.

— Понравиться хотели, — говорит начальник, зевая и расстегивая рубаху. — И что, закрыла школу?

— А как иначе? Для их же пользы. Нет, Ляльчик, очень они неблагодарные, очень. Говорят: «Мы тут родились, выросли, нам тут все дорого, у нас тут родина».

— Будет им дорого, — говорит начальник, стягивая штаны. — Родина! Я убиваюсь для их счастья, я уж сам забыл, где и родился. Не ценят.

— Черствые, черствые люди достались нам, — воркует Алиса. — Да, вспомнила, там девочка, такая хорошенькая, наедине мне говорит, что учительница ей запретила джинсы в школу носить. И что мама ее два раза шлепнула. Но это вообще уже беспредел. Нет, я оформлю лишение родительских прав, употреблю ювеналку, и эту дуру-училку надо проучить. — Алиса уже вся в розовом пеньюаре. — Ляльчик, — она красиво простирает к нему руки, — а когда к морю? Когда? Ты обеща-ал.

Начальник вновь зевает, разводит руками, мол, не все от меня зависит.

— Лялик, а почему тебе не дали центральную область, а Геннадия дали?

Начальник хмыкает:

— Он же прямой племянник, а я только двоюродный брат жены. Разница?

— Ну что, гасить свет? — спрашивает Алиса.

— Гаси.

ОКРЕСТИВШИСЬ, РУСЬ ВОШЛА В БЕССМЕРТИЕ

Тысячелетие Крещения Руси Святейший Патриарх Алексей II назвал Вторым Крещением. Первое освободило от мрака язычества и многобожия, второе — от засилья большевистской и коммунистической идеологии.

Вновь открыты храмы, духовные учебные заведения, печатается много богослужебной и православной литературы, живи и радуйся, человек.

Но что мы за люди, все нам неладно: опять начинается болтовня, называемая дискуссиями, плодящая раздоры. Плодятся неоязычники, неообновленцы, одолевают протестанты, старообрядцы никак не согласны с троеперстием, католики держатся за филиокве... нет «единого стада». Хотя «единый Пастырь» есть. Это Иисус Христос. И кем бы ты ни был, какое бы учение не исповедовал, должен знать: судить будет Христос.

Зачем Он приходил на Землю? Чтобы сказать нам Своей Крестной смертью — смерти нет. Нет смерти, не бойтесь! Не бойтесь жить, не бойтесь оканчивать земную жизнь. Ибо есть для вас жизнь вечная.

И вот это — отрицание смерти не умом, душой и духом, — почувствовал Великий князь Киевский Владимир и его окружение.

А давайте представим, что мы тогда не приняли Крещения, где б мы сейчас были? А нигде. Нас бы попросту не было. Нас бы наши враги пережевали и выплюнули за борт истории. Да и сами бы мы, не объединенные верой, передрались.

Почему Запад злобствует на нас, суетится с санкциями и провокациями? Да потому что он обезбожен. Как? Они же христиане, скажут мне. Какие христиане? Они живут без Христа и без Креста. В первые века христианства иудеи увидели, что христиан нельзя ни убедить отказаться от Христа, ни добиться отречения от Него пытками, казнями. Тогда они пошли по иезуитскому пути — изъяли из Священного Писания его Христологическое толкование. Исказили сердце Ветхого Завета — Псалтырь, убрали из нее главное — предсказания о приходе в мир Спасителя мира, убрали православно звучащие книги Братьев Маккавеев, Книгу пророка Исаии (евангелиста Ветхого Завета, как его называют), Данииловы Седмины, то есть все говорящее о

Христе. И перевод Писания с древнееврейского на греческий, а с греческого на латынь был назван Вульгатой. Мы же живем по Септуагинте — чистому изложению Писания. Это ли не счастье?

Какие-то мелкие (очень малочисленные) стычки языческих жрецов с православными миссионерами при переходе Руси в православие потом были раздуты до невероятных преувеличений, например: Владимир крестил Крестом, Добрыня мечом. И такие басни преподавались в школе в советское время. И даже походы наши в соседские пределы не были захватническими, это была не колонизация, а христианизация. Или (применительно к Кавказу) освобождение народов, присягнувших на верность Московскому Государю.

А как было пережить отрицание Сотворения мира и человека Богом? Преподавалось (и доселе во многих школах) происхождение человека и Земли от чего угодно: теория взрыва, живая клетка, всякие инфузории-туфельки, постепенно превращающиеся в обезьян, а те в человека, стыдливо стихшая шумиха о коллайдерах, затеянная тоже с целью отрицания Бога... эта несусветная чушь (происходит от слова «чужь» — чужое) владела многими умами.

Но слава Тебе, Господи, мы — Твое творение. Никакой эволюции нет. Как ты сотворил первых людей, Адама и Еву, такие и мы сейчас. И жена моя Евина наследница, и я — потомок Адама.

Крещение, освобождающее нас от первородного греха, было спасительным даром Творца Своему творению. А уж кто какие грехи в своей земной жизни навлечет на себя, то это его обязанность от них освободиться, пока живой. Чем? Покаянием, исповедью, Постом.

Без Бога мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Вся Европа, фактический тогда весь мир, шел против нас. А что мы были к началу войны после революций, кровавой гражданской, коллективизации, безбожных пятилеток? Церкви разрушены, осквернены, священники расстреляны, сидят в тюрьмах, богослужебные книги сожжены. Казалось бы, не поднять головы. Но мы победили. Как?

А так. Не за Ленина-Сталина воевали, не за идеологию Маркса-Энгельса, а за извечно святые русские слова: Отечество, Родина, Держава, Россия. За святых, за могилы великих предков. За храмы православные. Пусть разрушен храм, но он же был возведен на народные деньги (любая государственная казна — это тоже народное достояние), мастерами из народа и, главное, освящен. То есть над алтарем незримо, но явно в духовном мире, встал ангел-хранитель. И ждал,

и вдохновлял на битву, и надеялся, и знал, что вернут православные храмы из мерзости запустения. И опять в согласии с небесами засияют купола с крестами. Так и свершилось.

Было ли где и когда такое единодушие сердец, такое бесстрашие? Нет, только у православных. Не фанатизм, а именно вера во Христа.

И мы получили ее навсегда в Святом Крещении. Которое празднуем и помним.

Раб Божий Владимир Крупин

